

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Российская ИСТОРИЯ

В номере:

Основан
в марте
1957 года

Выходит
6 раз
в год

МНЕНИЕ ИСТОРИКА:
УГАСШИЙ МИР
ДРЕВНЕРУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

Скандинавы в Восточной Европе

«Закон судный людем» и византийские правовые традиции

Северо-Восточная Русь в XI — первой трети XIII в.

Галицко-Волынская Русь и Орда в XIII—XIV вв.

Как С.А. Белокуров магистерскую диссертацию защищал

Казачество в современных учебниках

Изучение истории России в Китае в XX в.

Обсуждаем книгу

В.В. Тихонов

Идеологические кампании «позднего сталинизма»
и советская историческая наука
(середина 1940-х — 1953 г.)

МОСКВА
ГАУТН-ПРЕСС

4

июль
август
2019

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Р.Г. Пихоя

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

**А.Н. Артизов, В.Ю. Афиани, Б.В. Базаров, Т.М. Горяева,
Д. Дальманн, М. Дэвид-Фокс, А.Е. Иванов, С.П. Карпов, С.М. Каштанов,
В.В. Кондрашин, Д. Ливен, А.К. Левыкин, С.В. Мироненко,
К.В. Никифоров, Ю.С. Пивоваров, Д. Свак, А.К. Сорокин, В.А. Тишков,
Е.А. Тюрина, С.В. Тютюкин, У. Эньюань, В.С. Христофоров**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**О.Г. Агеева, А. Блюм, О.В. Будницкий, В.П. Булдаков, М.Г. Вандалковская,
П.Г. Гайдуков, А.В. Голубев, И. Граля, В. Дённингхаус, Е.В. Добычина,
С.В. Журавлёв, В.Н. Захаров, В.В. Зверев, Е.Ю. Зубкова, В. Зубок, Б.И. Колоницкий,
М. Крамер, В.А. Кучкин, Д.В. Лисейцев (*зам. главного редактора*), Е.А. Мельникова,
Л.В. Мельникова, А.В. Мамонов (*зам. главного редактора*), Д.Б. Павлов, Ю.А. Петров,
Е.И. Пивовар, Д.А. Редин, Н.М. Рогожин, В.В. Трепавлов, В.В. Шелохаев,
П.Ю. Уваров, О.В. Хлевнюк, И.А. Христофоров, А.В. Юрасов**

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

М.А. Новикова

Адрес редакции

117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19. Тел.: 8-499 723-69-10; 8-499 723-69-41
Электронная почта: otech_ist@mail.ru; otech_ist1@mail.ru

На обложке: Н.К. Рерих. Голубиная книга (1922)

© Российская академия наук, 2019

© ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2019

© Редколлегия журнала «Российская история» (составитель), 2019

В.В. Тихонов. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х — 1953 г.)

Из всех периодов истории СССР самым пристальным вниманием исследователей традиционно пользуется сталинский — пожалуй, нет другого временного отрезка в рамках этих 70 лет, который был бы изучен столь подробно. И это справедливо: обилие событий, имевших судьбоносное значение для нашей страны и всего мира, их спрессованность, взаимоналожение и взаимовлияние производят глубокое впечатление и неизменно притягивают внимание общества. В современной России эти вроде бы давно ушедшие десятилетия занимают особое место: кажется, нет конца дискуссиям, спорам, борьбе вокруг них. Складывается впечатление, что Сталин — не историческая фигура, а актуальный общественно-политический деятель, а «его» эра — не далёкое прошлое, а закончилась буквально вчера (если закончилась вообще).

Обилие и разноплановость публикаций поистине поражают. Казалось бы, изучено всё, что можно. Однако, к радостному удивлению коллег и читателей, регулярно появляются работы, заглядывающие в очередные «вырванные страницы истории», заполняющие лакуны в наших знаниях о том или ином явлении в тот или иной период эры, получившей название «сталинизм». Одна из таких работ — книга В.В. Тихонова¹. Её автор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, обратился к теме, как оказалось, весьма малоизученной — бытованию исторического сообщества СССР в годы идеологических кампаний позднего сталинизма. Книга в неповторимом авторском стиле развеивает представления о поголовной сервильности историков изучаемого периода. Вместе с тем это захватывающий взгляд в закулисы производства исторического знания — важнейшего компонента тщательно выстраиваемой в сталинские годы «картины мира». Взгляд, сформированный при помощи самых современных методик исследования и на основе широкого и разнообразного документального комплекса. Взгляд небесспорный, где-то полемически заострённый, даже конфронтационный. Но главное — высвечивающий картину сообщества, монолит которого на поверку оказался лишь набором разных составляющих: зачастую не вполне «стыкующихся», порой прямо конфликтующих и разнонаправленных, спаянных лишь волей непреодолимой силы.

В обсуждении книги приняли участие доктора исторических наук А.М. Дубровский, С.В. Кондратьев, О.Л. Лейбович, Л.А. Сидорова и кандидаты исторических наук М.А. Базанов и М.В. Ковалёв.

Материал подготовлен В.Н. Кругловым

¹ Тихонов В.В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука. Середина 1940-х — 1953 г. М.: Нестор-История, 2016. 425 с.

Монография В.В. Тихонова — давно ожидаемое исследование. Не потому, что автор много и плодотворно изучает отечественную историческую науку, а потому, что существует запрос не только на историографию, в частности изучение присущих советскому историописанию подходов, речевых стереотипов, ритуальных фигур речи, но и на реконструкцию поведенческих практик, их вариантов, а если позволяют архивные материалы — то и девиаций.

Отмечу репрезентативность книги: автор методично и педантично проработал архивные фонды Москвы и Санкт-Петербурга, собрал массовый материал и представил картину целостную, заполненную сотнями персонажей — как больших учёных, так и «маленьких людей» науки. Аннотированный указатель имён весьма внушительен и вызывает уважение к проделанной работе. Перед нами, как говорил А. Дюма, книга, под тяжестью собранного в которой материала неизбежно должен прогибаться стол (если, конечно, материал не был предварительно оцифрован).

На мой взгляд, в тексте можно выделить три сюжетных линии. В первых двух главах автор излагает историю становления советской исторической науки. Власть старательно вписывала историю в создаваемый ею институциональный и идеологический ландшафт. «Учёные постепенно оказались частью элиты, оплачивая эту элитарность источниковедческим обоснованием спускаемых сверху установок. Однако лояльность не избавляла ни от кампаний, ни от гонений».

Справедливо подчёркивается, что в 1930-х гг. наметился отход от интернациональных принципов первых революционных лет. Оставив надежды на мировую революцию, режим начал внедрять в массы идеи «советского патриотизма», главенства и прогрессивности русского народа, объединившего вокруг себя своих «младших братьев». Река истории должна была протекать по руслу «Краткого курса истории ВКП(б)», который обрёл статус сакрального текста. Одновременно сформировались несколько базовых концепций (вроде раннефеодалного характера древнерусского государства авторства Б.Д. Грекова или древневосточного рабства В.В. Струве), творцы которых заняли в науке командные посты. Окончательный поворот к «советскому патриотизму» произошёл в ходе Великой Отечественной войны. В первые послевоенные годы, когда между бывшими союзниками началось противостояние, история оказалась не только «фронтом», но и актуальным мобилизационным ресурсом, а описываемые кампании — важным инструментом мобилизации и сплочения вокруг власти и фигуры «вождя».

Советская власть, считает Тихонов, держалась не только на насилии, но также на идеологемах и мифологемах. Он обрисовывает набор символов советского человека и определяет место истории в его формировании, обращая внимание на милитаризацию массовой психологии и героизацию прошлого. Используемый повсеместно термин «исторический фронт» подчёркивал, что история — поле постоянного противостояния.

Крайне интересна глава, повествующая о том, как формировались школы, как внутри них поддерживалась устойчивость, как функционировали патрон-

клиентские отношения, возникали, полыхали и гасились внутрикорпоративные конфликты, а также что происходило с клиентелой после низвержения лидера. Собственно, многие намеченные в ней сюжетные линии разворачиваются в последующих главах и проиллюстрированы антропологическим материалом.

Важны поколенческие наблюдения автора. Он отмечает, что в 1930 г. произошёл окончательный разрыв с традициями дореволюционной «русской школы». Молодые учёные, воспитанные на господствующей идеологии, были «в целом преданны советской власти и лично Сталину». Многие воспринимали науку как социальный лифт и готовились занять в ней место не обретением компетенций, а приобретением или близостью к власти.

Большую часть монографии занимает вторая и основная сюжетная линия — характеристика самих идеологических кампаний. Автор подробно останавливается на борьбе с «буржуазным объективизмом» и «безродным космополитизмом». Ново здесь то, что он, во-первых, разводит их сюжетно и тематически, но подчёркивает их имманентность, во-вторых, скрупулёзно воспроизводит ход «проработок» и дискуссий практически во всех научных и учебных заведениях исторического профиля Москвы и Ленинграда. Показано, что «проработки» готовились, у них были сценарии, режиссёры, солисты и исполнители. Важно, что автор нигде не даёт организаторам и жертвам «проработок» шаблонных характеристик. Особое внимание уделено жертвам, одни из которых покорно подчинялись обстоятельствам, признавали «ошибки и извращения», а другие — выстраивали линию обороны, аргументированно возражали (что в определённых случаях приносило свои плоды). Прекрасно показано, что в каждом отдельном учреждении кампания обретала собственную, неповторимую драматургию.

Обращаясь к немногочисленным дневникам, Тихонов воспроизводит тот когнитивный диссонанс, который вызывали у историков «разоблачения», как они пробуждали сомнения в правильности происходящего, как травмировали сознание и деформировали личность. Отдельный и очень интересный материал представлен в восьмой главе, посвящённой анализу того, как развенчание И.В. Сталиным яфетической теории академика Н.Я. Марра, являвшейся ранее официальной, и статья «вождя» о проблемах политэкономии сказались на судьбах историков и археологов.

Мне как специалисту по позднему Средневековью и Раннему Новому времени наиболее интересны и близки те разделы, которые описывают состояние и поведение медиевистов. Тихонов отмечает, что в послевоенное время они старались обозначить преемственность со старой русской школой и мировой наукой. В мемориальных сборниках («Средние века», посвящённом Д.М. Петрушевскому, и возрождённом «Византийском временнике», посвящённом Ф.И. Успенскому) эта идея звучала рефреном. Однако она оказалась решительно отвергнута работающими в секторе Средних веков Института истории АН СССР коммунистами З.В. Мосиной, Н.А. Сидоровой и др. Доходило до рекомендаций свести ссылки на иностранных авторов к минимуму.

Как показывают материалы кафедры Средних веков МГУ им. М.В. Ломоносова периода борьбы с космополитизмом, отдельные историки пытались свести счёты с конкурентами, занимающимися близкой тематикой, как например, Б.Ф. Поршнев — с О.Л. Ванштейном, З.Ф. Мосина — с А.Д. Люблинской. К чести медиевистов, они «не обнаружили» в своей среде «космополитическую

группу». В книге показаны достоинство, с которым готов был взять на себя вину за «ошибки» Е.А. Косминский, выдержка и сила духа, с которой защищался от обвинений А.Н. Неусыхин.

Касаясь представителей других корпораций, автор отмечает, что они перед лицом нападок проявляли большую солидарность, нежели медиевисты. В книге нет примеров того, как специалисты по Средним векам сигнализировали в партийные органы об отходе своих коллег от марксизма. Но такие случаи имели место. Например, мне приходилось видеть переписку Вайштейна с одесским профессором С.Я. Боровым, которая свидетельствует, что Поршневу в 1945 г. писал в ректорат Ленинградского университета письма с требованием запретить Вайштейну заниматься изучением Тридцатилетней войны.

В работе предпринята попытка типологизировать участников идеологических кампаний. Помимо традиционного деления на «гонителей» и «гонимых», автор выделяет ряд типажей в соответствии с их поведением. Среди гонителей это «контролёры», «бескомпромиссные борцы», «критики-корректоры», «научные оппоненты», «наблюдатели от вузов» и «соглашатели», разделённые на два вида. Среди гонимых — «частично признающие ошибки», «отрицающие обвинения», «защитники», «примиренцы», «сваливающие ошибки на умерших», «неявлявшиеся на проработочные заседания».

На примерах Х.Г. Аджемьяна и И.И. Мордвишина исследуется роль в идеологических кампаниях «маленьких людей». Они порой активно «сигнализировали о недостатках», инициировали разбирательства, давали им новые повороты, эпатировали почтенную академическую среду.

Третья сюжетная линия, которая представляется мне наиболее интересной, касается антропологии учёных, их поведения и намерений, судеб реализуемых ими проектов и руководимых ими структур. Тихонов всматривается в патрон-клиентские отношения, фракционные связи, лоббистские возможности в борьбе за должности, ресурсы, премии, проекты, внутрикорпоративные конфликты, а также последствия для победителей и проигравших. «Лидеры, — пишет он, — ревниво опекали своё положение, стремились вытеснить конкурентов, задавить идеи, противоречащие их концепциям». При этом справедливо отмечается, что лидерство было одновременно сделкой с властью, в которой установленные сверху правила игры принимались в «обмен на поддержку идей».

Автор предлагает наброски своеобразных кодексов поведения партийных и беспартийных историков. В этой связи интересна корпоративная борьба за Сталинские премии. Лауреатство часто определялось реальными научными достижениями, нередко — идеологическими причинами, иногда и случайными факторами, но решающее слово всегда оставалось за Сталиным. Книги лауреатов на долгие годы заложили интерпретационные модели многих исторических явлений и процессов.

Отдельная глава работы посвящена становлению историографии как отрасли советской исторической науки, призванной подчеркнуть непревзойдённые достоинства марксистско-ленинской науки по сравнению с дореволюционной, а также вести «бескомпромиссную борьбу» с наукой западной. Важной миссией историографии стало требование находить методологические недостатки в работах современников и критиковать их за слишком частое и корректное обращение к зарубежным исследованиям. Показательно, что в ходе кампаний по-

страдали авторы наиболее квалифицированных историографических работ — Н.Л. Рубинштейн и О.Л. Вайнштейн.

В монографии немало других интересных и захватывающих сюжетов. Например, очень интересно читать об историко-документальных проектах академика И.И. Минца по сбору воспоминаний участников Гражданской и Великой Отечественной войн. Книга, как сказал бы М. Блок, «пахнет человечиною». Каждый параграф, оставшийся недосказанным или недорассказанным в силу фрагментарности материала, намечает сюжетные линии, которые, надеюсь, будут развёрнуты в новых исследованиях автора.

Олег Лейбович: *Война всех против всех*²

Oleg Leibovich (Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg; Perm State Institute of Culture, Russia): War of everyone against everyone

DOI: 10.31857/S086956870005915-7

Когда читаешь книгу В.В. Тихонова, всё время возвращаешься к мысли: это же историческая иллюстрация к Т. Гоббсу, точнее — к самому известному его тезису о «войне всех против всех» как естественном состоянии людей до заключения ими общественного договора. Современный исследователь наследия этого британского мыслителя тут же поправил бы меня: «Гоббс не описывает реальные события, он почти не обращается к реальной истории»³. Тихонов, напротив, тщательнейшим образом реконструирует битвы историков в первое послевоенное десятилетие: закулисные интриги, хладнокровные доносы, неистовство обличителей, неуклюжие манёвры подвергшихся нападению, искренние и неискренние раскаяния, честолюбивые мечты одних и желание спасти других, крушение авторитетов и восхождение новых людей... Всё это очень напоминает гражданские войны древности. Историк находит им другое название: «коллективное безумие», тут же оговариваясь, что «внутренне они имели свою железную логику». По его мнению, в этих идеологических кампаниях речь шла о столкновении «двух неравных в своём могуществе сил: партийной и академической среды, их специфических культур» (с. 374).

Впрочем, в ином месте автор характеризует кампании как «иррациональные по своей сути» (с. 380). Представляется, однако, что это объяснение излишне схематично. Автор сам напоминает, что «история уже давно была участком “идеологического фронта”, а научная корпорация была насквозь пронизана партийными структурами» (с. 374). В такой ситуации вряд ли правомерно говорить о столкновении культур — скорее, речь идёт о внутреннем напряжении в общей освоенной историками и партийными работниками советской культуре. Можно взглянуть на эту ситуацию иначе, с институциональной точки зрения.

К началу 1940-х гг. советская историческая наука оформилась как особый социокультурный институт со своими нормами, идейными ориентирами, символическими фигурами, распределением статусов и ролей, строгой иерархией

² Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00221) в Институте истории и археологии Уральского отделения РАН.

³ Филитов А. Актуальность философии Гоббса // Социологическое обозрение. 2009. № 3. С. 111.

и видами легитимации: защитой диссертации, изданием монографии, правительственной наградой и Сталинской премией. Историки разных поколений усвоили несложные правила. Первое из них обязывало видеть в Сталине непререкаемый авторитет — не только политический, но и профессиональный: «Любое высказывание вождя, касающееся исторических вопросов, автоматически превращалось в директивные указания для учёных» (с. 34). Историки должны были исповедовать марксизм в интерпретации «Краткого курса истории ВКП(б)» в сочетании с национально-государственной традицией, восходившей не к С.М. Соловьёву, а к Д.М. Иловайскому, искусно заменявшему историю «собственными именами и “хронологией”... Он знал, что для цели, которую ставило Министерство, т.е. убить и интерес к истории, более подходящего учебника, чем его, нельзя было выдумать», — заметил В.А. Маклаков, изучавший историю в классической гимназии по учебнику последнего⁴. Существовал «белый список» исследовательских тем, время от времени пересматривавшийся, а вместе с ним и список «чёрный»: перечень сюжетов, недостойных пера историка, либо не подлежащих какой-либо исторической интерпретации, поскольку непререкаемые истины по ним уже высказаны партийными инстанциями. Все основные исторические фигуры также разносились по столбцам «положительные — отрицательные».

Внутренняя организация науки — в том числе «института истории» — являлась слепком с государственно-партийной структуры: иерархической, централизованной, регламентированной. «Первое — это военная иерархия, которая сразу всё прояснила. То, что вне её было подхалимством, в её пределах стало чиновничеством. Содержание получило форму, красивую, правильную, молодецкую, совместимую с честью и доблестью. Иерархия проецировалась в гражданский быт, где выглядит, конечно, иначе. Второй определяющий момент — иерархия снабжения. Ею всё сказано *en toutes lettres*. Откровенно, напрямик. Она ежеминутно ощутима в быту, её нельзя забыть. Наконец, она гораздо иерархичнее имущественного неравенства, и по психологической своей сущности — ближе к неравенству сословному, кастовому и именно для него создаёт предпосылки»⁵.

Высшие ступени в научной иерархии историков занимали действительные члены Академии наук СССР, за ними располагались члены-корреспонденты, далее доктора наук и кандидаты. Рангам соответствовали отличия: ордена, почётные звания и премии, а также материальные привилегии: квартиры, государственные дачи, прикреплённые автомобили с водителем и проч.

Наряду с официальными структурами сложилась клановая организация — объединения учёных вокруг сильных фигур. Тихонов точно и адекватно описывает процесс становления патрон-клиентских отношений внутри исторического сообщества. «Генералы от науки» обрастали собственными артелями, точнее свитами или кланами (с. 78—90). Они выполняли важную социальную функцию: помогали историкам адаптировать систему принуждения к своим возможностям и партикулярным интересам⁶, исполняли роль «страхового полиса», предохраняющего от внешних угроз. Более того, клановая организация

⁴ Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М., 2011. С. 38—39.

⁵ Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Новое собрание. М., 1999. С. 282.

⁶ Янковская Г.А. Патрон-клиентские отношения в практиках управления советским искусством эпохи сталинизма // *Ars administrandi*. 2013. № 2. С. 26—33.

профессиональной жизни позволяла несколько умерить проявления взаимной вражды, обид и недовольства.

Этот социокультурный институт, обладавший некоторой автономией, функционировал вполне исправно, исполняя обязанности, возлагаемые на него верховной властью: участвовал в агитационно-пропагандистской деятельности внутри и вне страны; издавал брошюры «на злобу дня», а с ними — и полноценные академические исследования. История в негласной «табели о рангах» стояла ниже, чем литература. Академик С.Б. Веселовский сетовал, что «новостью является только то, что наставлять историков на путь истины “сравнительно недавно” взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кинорежиссёры»⁷.

Идеологические кампании, описанные в монографии, этот институт разрушили: «Кампания разорвала личностные связи между учителями и их учениками» (с. 213). Артели оказались разогнаны, внутренняя иерархия сломана, обесценились все действующие виды легитимации научной и преподавательской деятельности. Функциональные социальные роли — руководитель сектора, профессор, аспирант и проч. — на время заместились дихотомией гонителей и гонимых. «Нередко роли смешивались, но всё же чётко можно увидеть, кто жертва, а кто палач» (с. 266). Причём в каждой группировке имелась своя градация. Среди гонителей — яростные и, что называется, «отбывающие номер»; «гангстеры пера» или «критики-корректоры»; научные оппоненты, а также наблюдатели из провинциальных вузов». Гонимые классифицируются по стратегиям поведения: «соглашательская», «защитная» и др. (с. 267).

Автор упоминает и иные виды классификаций новых социальных ролей, но следует отметить, что они не имеют отношения к исполнению институциональных функций. Складывается парадоксальная ситуация: сохранились все учреждения, составлявшие историческую науку: отделы, кафедры, издательства и проч. Но под этой оболочкой шла какая-то иная жизнь, фактически сводившая на нет их прежнее содержание. Историки отказывались публиковать труды; из библиотек изымали «вредную и устаревшую» литературу; на собраниях не обсуждали перспективы исследований, а разоблачали врагов. Что-то подобное происходило в КНР в годы «культурной революции». Фактически наука как общественный институт упразднилась, сообщество историков вступило в период, когда доминировало не стремление к совместной профессиональной деятельности, а «воля к борьбе путём сражения»⁸.

В чём истоки этого стремления? Исследование Тихонова позволяет поставить такой вопрос и найти на него ответ. Высокая степень конфликтности вызывалась множеством факторов, прежде всего — соперничеством за материальные и символические ресурсы, получаемые из рук государства. Речь идёт о выделении бумаги на публикации, денежных средств на экспедиции и научные командировки, о количестве штатных единиц и т.д. Наряду с профессиональными темами всплывали житейские: оклады, премии, академические пайки, квартиры и т.д. Академическая иерархия строилась линейно. Наверх вела всего одна лестница — должностная. Причём количество престижных мест было ограничено; привлекательные позиции заняты, способы подъёма регламенти-

⁷ Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 36.

⁸ Hobbes T. Leviathan, Or The Matter, Form, and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil / Ed. by R. Tuck. Cambridge, 1996. P. 88.

рованы инструкциями и артельными связями. Иначе говоря, вертикальная мобильность отягощалась многочисленными условностями, неписаными правилами и закулисными конвенциями.

Нельзя не учитывать и общий культурный фон, одобрявший насилие над внутренними и внешними врагами во имя общего дела. Можно согласиться с суждением, что «само научное сообщество, пройдя репрессии Гражданской войны и 1930-х гг., было психологически готово к репрессивным кампаниям, воспринимая их как ужасающую, но неотъемлемую и потому привычную часть действительности» (с. 45).

В таких условиях любая общественная структура находилась в ситуации риска. Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. напряжённость в историческом сообществе достигла пика, и хватило небольших усилий со стороны партийных работников — совсем не обязательно высшего звена, — чтобы опрокинуть организацию исторического дела в СССР. Выяснилось — снова обратимся к исследователю Гоббса, — «что между естественным и искусственным нет радикальной цезуры, они суть изнаночные стороны друг друга, и как естественная вражда просвечивает через социальность, так социальное просвечивает через все настроения естественной вражды, недоверия и тщеславия»⁹.

Конечно, можно найти логику и в поступках гонителей, и в уступках гонимых, но это совсем не логика социального института. И это отнюдь не конфликт «партийцев» и «академиков». Это логика войны всех против всех. В такой войне — как и во всякой другой, — наибольшую удаль и отвагу проявляют люди молодые, готовые к риску и насилию. Особенно если они чувствуют поддержку неодолимой силы (в нашем случае — силы «вождя»). Логика борьбы подчиняет себе едва ли не всех участников. В.В. Тихонов — человек смелый. Описывая ход кампаний, дебаты в учёных советах и на партийных собраниях, он называет все имена и не обрывает на полуслове цитаты, даже если они принадлежат почитаемым ныне людям. Возможно, это кого-то обидит или вызовет желание возразить. Думаю, что автор готов к такому повороту событий.

Война, однако, не может продолжаться вечно. И участвовавшие в ней историки после 1953 г. постарались восстановить утраченную социальность, заново — вместе с партийными работниками — выстроить институт исторического знания, но уже с учётом обрётённого опыта. Лояльность к власти, профессиональная автономия и социальный мир — именно на этих основаниях был заново собран институт советского исторического знания. Обсуждаемое исследование, кроме всего прочего, позволяет увидеть в идеологических кампаниях позднесталинской эпохи предпосылку — пусть и отрицательную — участия историков в политике оттепели.

Александр Дубровский: Книга рождает размышления

Alexander Dubrovsky (Bryansk State University, Russia): The book sets one thinking

DOI: 10.31857/S086956870005916-8

Книга В.В. Тихонова отражает творческий рост её автора. От исследования жизни и творчества поколения московских историков, чей творческий путь пришёлся на первую половину XX в., он перешёл к рассмотрению политических

⁹ Филитов А. Актуальность философии Гоббса. С. 111.

кампаний 1940-х — начала 1950-х гг., ставших нормой жизни в последние годы работы этих учёных. Персонажами книги явились и представители старшего поколения и, главным образом, их младшие ученики, получившие профессиональное образование в 1930—1940-х гг. О последних пока недостаточно известно в отечественной исторической науке. В частности, ненаписанную страницу в биографиях этой группы историков до последнего времени составляли именно наполненные идеологическим шумом военный и послевоенный периоды.

Бросаются в глаза широкий охват темы и большое количество впервые вводимых в оборот архивных источников. Причём привлечённые материалы — протоколы собраний, стенограммы заседаний, отчёты — обладают высокой степенью достоверности. К сожалению, автор не указывает, какие именно источники используются им в том или ином случае, предпочитая глухие ссылки. Читателю всё-таки важно знать, на что опирается исследователь — на протокол или стенограмму, поскольку степень полноты информации, точность передаваемых высказываний в них существенно разнятся. Однако в целом автор создал убедительную картину сменяющих друг друга политико-идеологических валов, накатывавшихся на сообщество историков, одни из которых становились жертвами, другие — истязателями.

Рассматриваемая книга рождает размышления, и это очень важное её качество. Так, в работе вскользь говорится об «окончательном оформлении и теоретическом обрамлении» концепта советского патриотизма (с. 63). Данный сюжет не самый главный, и всё же хотелось бы на нём остановиться. Это приходится делать потому, что в литературе высказано мнение, будто применительно к 1930-м гг. «можно говорить о новом идеологическом курсе, но никак не о смене идеологии»¹⁰. Думается, что новый идеологический курс означает смещение акцентов с одних понятий, существовавших в идеологии, на другие, которые до определённой поры не были актуальны. Но дело-то в том, что в 1930-х гг. появлялись и разрабатывались понятия, которых в идеологии большевиков не было, в частности, «советский патриотизм», ставшее центральным и чрезвычайно актуальным в период послевоенных политических кампаний. Так что эволюция оказалась глубокой, связанной и с введением в идеологию новых духовных ценностей, и с переосмыслением ряда понятий, с новыми оценками, диаметрально противоположными прежним, что вполне может дать основание для мысли о смене идеологии.

Здесь необходимо указать на фигуру К.Б. Радека. Он первым (ещё в 1920 г.) начал пересматривать смысл самого понятия «патриотизм»¹¹. Ему же принадлежит наиболее обстоятельная историко-теоретическая разработка термина «советский патриотизм»¹², который во время войны ещё не получил «окончательного оформления». Зато позже, в 1950 г., обобщая результаты работы, Институт философии АН СССР выпустил массовым тиражом (100 тыс. экз.) сборник статей «О советском патриотизме». Именно здесь понятие оказалось всесторонне освещено, подчёркивалась его направленность «против буржуазного космополитизма». Эта теоретическая работа достойна специального рассмотрения на фоне тогдашних политических кампаний.

¹⁰ Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец XVIII в. — 1991 г.). М., 2015. С. 497.

¹¹ См.: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 г. до наших дней. Л., 1986. С. 98.

¹² Радек К. Советский патриотизм // Правда. 1936. 1 мая. С. 6.

Автор говорит о «внутренней советизации» населения, в том числе историков «старой школы» из «бывших людей». Политико-идеологические кампании были призваны углубить этот процесс. В качестве примера приводится П.А. Зайончковский, «старавшийся активно влиться в новое общество» (с. 46). Мне думается, что здесь можно усмотреть две составляющих: советизация поведения и марксизация мышления. У старшего поколения — учителей-классиков науки и первого поколения их учеников, родившихся в начале XX в., — оба процесса часто были поверхностны, представляли в качестве игры (подчинение правилам, использование их в своих интересах). Эти учёные если и старались «активно влиться в новое общество», то всё же сохраняли прежние духовные ценности, не отождествляли свою жизненную позицию с официальной.

Тот же Зайончковский, периодически разговаривая по телефону с деканом исторического факультета МГУ Ю.С. Кукушкиным, нередко спрашивал, имея в виду политическую обстановку: «А что, не изменилось ли у нас расписание?» Только в годы перестройки Кукушкин сказал, что теперь мог бы радостно ответить собеседнику: «Изменилось, Пётр Андреевич, изменилось!» Несомненно, Зайончковский ждал либерализации режима и был не в восторге от того, что наблюдал вокруг и вряд ли «активно старался влиться». Он считал себя марксистом и в то же время позитивистом, соглашался с приоритетом экономики, но полагал важными и другие факторы исторического процесса. А когда Н.М. Дружинин сказал ему, что «источники нужно методологически организовывать», ответил: «А я вот и не научился этому». Историк сдержанно относился к «основщикам» — специалистам по истории КПСС и научному коммунизму. Когда в начале 1960-х гг. он редактировал журнал «Научные доклады высшей школы», ни одной статьи таких авторов не пропустил¹³. Кстати, пока не найдено ничего об отношении Зайончковского к кампаниям 1940—1950-х гг.

В работе освещены главным образом судьбы людей, подвергшихся критике в ходе идеологических проработок. Кроме рассматриваемой книги в этом отношении особенно показательна фундаментальная работа П.А. Дружинина¹⁴. Изучение обеих работ приводит к выводу, что отражение этих кампаний в творчестве учёных, в частности историков, исследовано пока ещё в меньшей степени. Между тем поработать в этом направлении было бы интересно. Как стало известно недавно, благодаря диссертационной работе молодого историка В.В. Ковели, в судьбе и творчестве М.Н. Тихомирова кампания борьбы с «буржуазным объективизмом» сыграла ту же роль, что и Академическое дело 1930 г. в судьбе его учителей¹⁵. На него обрушилась такая критика, что он чуть не умер. Власть согнула учёного, он был вынужден приспособлять содержание своих работ к «требованиям времени». Позже, духовно разгибаясь, он корректировал свои выводы и построения. Вряд ли случай Тихомирова уникален. Предстоит ещё изучить наследие учёных, переживших указанные кампании, чтобы выявить последствия духовных потрясений и в этой области.

¹³ Долгих А.Н. О Петре Андреевиче Зайончковском (воспоминания ученика) // Отечественная культура и историческая мысль XVIII—XX вв. Сборник статей и материалов. Вып. IV. Брянск, 2013. С. 235, 239.

¹⁴ Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. Т. 1—2. М., 2012.

¹⁵ Ковеля В.В. М.Н. Тихомиров и его научное наследие: развитие научных концепций и влияние политико-идеологического фактора. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2016.

Понятно, что в ходе упомянутых кампаний историки вели себя по-разному. Безопаснее было отмолчаться, не лезть в свалку, но даже молчание нередко требовало мужества. Сказал же Тихомиров: «Я в еврейских погромах не участвую». Однако не все могли отойти в сторону — иных обязывало положение. Как вспоминала Е.Н. Кушева, когда по велению сверху С.В. Бахрушину пришлось проводить заседание возглавлявшегося им сектора истории феодальной России Института истории АН СССР, посвящённое критике работ Б.Б. Кафенгауза, на него прислали специального «наблюдателя». К сожалению, Екатерина Николаевна не назвала мне его фамилии. Бахрушин не стал «громить» Кафенгауза, как негласно требовалось, а, пренебрегая «духом времени», повёл заседание так, что состоялся спокойный, совершенно академический анализ работ этого историка. Известно также, что стремился преодолеть общее давление и сдерживал «крови жаждущих» Дружинин. Тихонов приводит замечательный пример: вместо того, чтобы громить кого-нибудь из современников, Дружинин взялся критиковать П.Я. Чаадаева. Ещё один эпизод относится к 1951 г., когда была объявлена «антипатриотичной» книга Е.В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». На заседании в Институте истории АН СССР единственной, кто высказался против обвинений, оказалась М.В. Нечкина¹⁶. Вероятно, количество таких примеров можно и увеличить, хотя, скорее всего, они будут немногочисленны. Однако говорить и помнить о них нужно.

Моё внимание привлекло также рассуждение автора по поводу того поколения, которое пришло в науку после Великой Отечественной войны. Историк справедливо (и не единожды) заметил, что это были люди разные. Среди фронтовиков были не только те, кто вернулся домой и мечтал о карьере. «Нового декабризма» не получилось, однако в их памяти война оставила глубокий след. В.П. Данилов не мог забыть ни неожиданного для советского человека впечатления от жизни за рубежом, ни поведения офицеров за пределами Отечества. Кроме того, на молодые годы этого «призыва» пришлось ещё и такое для многих судьбоносное событие, как XX съезд Коммунистической партии. Отсюда, как мне кажется, идут повороты и изломы жизни Данилова, А.М. Некрича, историков «нового направления», А.А. Зимины.

Как видно, размышления над книгой уводят порой к темам, отдалённым от её содержания. Что ж, и в этом тоже её плодотворное значение.

Михаил Ковалёв: Сделаны ли выводы?

Mikhail Kovalev (Institute of World History, Russian Academy of Sciences; Archive of the Russian Academy of Sciences, Moscow): Are conclusions drawn?

DOI: 10.31857/S086956870005917-9

История советской научной интеллигенции, её возникновения, расцвета, упадка и рассеяния — одна из ключевых проблем отечественной интеллектуальной истории. Историческая наука, находясь в состоянии непрерывного обмена с окружающей средой, в полной мере испытала на себе последствия глубоких общественно-политических трансформаций. Их динамика неизменно бросала учёным новые вызовы. Всякая обыденная ситуация могла внезап-

¹⁶ Дунаевский В.А., Чапкевич Е.И. «Навеки в памяти народной» // Тарле Е.В. 1812 год. Избранные произведения. М., 1994. С. 486.

но трансформироваться в пограничную или экстремальную, жизненные риски становились повседневными, повторяющимся. Изучаемый В.В. Тихоновым период иллюстрирует это как нельзя лучше.

Учитывая огромный интерес исследователей и в России, и за её пределами к эпохе «позднего сталинизма», автор берёт на себя крайне непростую, даже рискованную задачу. Лишь за последние годы появилось несколько фундаментальных исследований¹⁷, посвящённых переменам и потрясениям в сообществе советских историков и их реакциям на переживаемое. Причём интерес исследователей к теме не затухает, что неудивительно, ведь проблема взаимоотношений учёных и власти, науки и идеологии по сей день сохраняет не только исследовательский, но и общественный интерес. Современный поворот от привычных методов работы исторической науки — систематизации и классификации «учений» и «идей» — к реконструкции культурного контекста развития мысли предполагает изучение жизненных стратегий учёных. Отсылая к методологии П. Бурдьё, автор говорит об особом «научном поле», в котором не только протекала интеллектуальная работа, но и складывались особые социальные связи, отношения, реакции на происходящее (с. 11). И хотя далеко не во всех частях книги Тихонов следует перечисленным во введении методологическим принципам, порой переходя на традиционную фактографию, поставленные им проблемы и вопросы отчётливо говорят о потребности реконструировать многомерный образ советской исторической науки первых послевоенных лет. Применение новых подходов, использование новой исследовательской оптики даст возможность нарисовать комплексную картину развития исторического знания в «пространстве внимания» (согласно терминологии Р. Коллинза, совокупность интеллектуальных событий, попадающих в поле зрения индивида). В книге таким «пространством» служат послевоенные идеологические кампании, сделавшиеся важнейшей составляющей духовной жизни сообщества историков.

Не ставя задачей сделать подробный обзор всей книги, позволю себе остановиться на отдельных её сюжетах. Для истории отечественной науки XX в. проблема взаимоотношений институтов власти и учёного сообщества является одной из ключевых. С одной стороны, власть была заинтересована в высококвалифицированных специалистах. С другой — препятствовала свободомыслию и независимому научному поиску, не укладывавшемуся в официальную идеологическую линию. Причём характер взаимоотношений науки и власти имел тенденцию к переменам и метаморфозам. Тихонову удалось сделать акцент как на внешних, так и на внутренних факторах развития знания и таким образом преодолеть традиционную бинарную оппозицию «наука—власть». Применённый подход позволил лучше понять особенности работы учёных в условиях общественных трансформаций и потрясений, их морально-психологическое состояние, социальное положение и этический облик, уяснить проблемы взаимоотношений со структурами власти и обществом, проследить карьерные траектории, соотношение научной кооперации с конкуренцией.

¹⁷ Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг. / Под ред. В.П. Корзун. М., 2011; *Юрганов А.Л.* Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011; *Сони́н А.С.* Борьба с космополитизмом в советской науке. М., 2011.

Индивидуальный и коллективный опыт учёных был вписан в пространство власти, которое в Советском Союзе было весьма широким. В него включались практики управления, подчинения, авторитета, взаимоотношений руководства и подчинённых. Обратимся вновь к Бурдье, который замечал, что ключевую роль в воспроизводстве социальных отношений господства играет способность занимающих властные позиции (в данном случае руководители научных организаций, высших школ и их подразделений) навязывать свои культурные и символические практики. Исследовательские ракурсы книги позволяют выяснить этические нормы и систему ценностей сообщества историков, механизмы конструирования научной корпорации и саморегуляции её внутренней жизни. Кстати, не совсем убедительным кажется авторское мнение, будто карьерный взлёт ряда учёных в послевоенные годы стал причиной их морального падения из-за необходимости идти на компромиссы с совестью (с. 382). Полагаю, процесс нередко был обратным: низкие моральные качества и отсутствие нравственных ориентиров способствовали выдвиганию беспринципных людей. По сути, происходил отрицательный отбор.

Тихонову удалось препарировать механизмы идеологических кампаний, рассмотреть их не как «коллективное безумие», а как социальное действие, имеющее свою логику. Речь идёт о столкновении двух культур — партийной и научной, причём первая насквозь пронизывала вторую. В то же время корпорация историков являлась «сложносоставной системой». Нередко поведение того или иного её члена в годы идеологических кампаний определялось его мировоззренческой позицией, принадлежностью к той или иной возрастной группе, научной школе.

В этой связи крайне интересны разделы, посвящённые «маленьким людям», которые служили катализатором погромных кампаний, обостряли конфликтные ситуации. Замечу, что далеко не всегда они выполняли спущенный сверху заказ, напротив, умело подыгрывали «генеральной линии», извлекая для себя пользу. Такие «маленькие люди» существовали, разумеется, не только в исторической науке. На ум приходит географ С.И. Савенков, запечатлённый в воспоминаниях моих старших учителей и мемуарных текстах. Будучи не самым квалифицированным учёным и преподавателем, он сделал карьеру на доносах и клеветах как раз в годы позднего сталинизма. Потеснив более талантливых и работоспособных коллег, он стал деканом географического факультета и заведующим кафедрой экономической географии Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского. Однако в корпоративной памяти остался лишь человеком небольшого роста, «семенящим... по университетскому двору с неизменной папкой или портфелем подмышкой, в которых содержались неперенные жалобы, заявления на кого-нибудь»¹⁸.

Применённые в книге подходы дают возможность взглянуть на карьеры учёных сквозь призму мотивации к достижениям, связанной, среди прочего, с особенностями социализации и с ценностными ориентациями. Автор отдаёт себе отчёт в сложности и многомерности этого феномена, в основе которого, помимо активной работы и здоровой конкуренции, лежали конформизм, доноительство, публичные разоблачения, проявлявшиеся в виде не только анонимок, но и вполне официальных, открытых писем во власть. Последние служили наглядным проявлением сотрудничества с режимом и поощрялись как сред-

¹⁸ Аврус А.И. О друзьях-товарищах. Саратов, 2012. С. 94.

ство социального контроля. Механизмы конфликтов крайне сложны и противоречивы, и далеко не всегда они вызывались идеологическими причинами. В подобных ситуациях проявлялись борьба за власть в науке, утверждение любой ценой подлинного или мнимого авторитета или же банальная зависть. Причём жертвами становились не только «идеологически чуждые элементы», но и правоверные члены корпорации: «Иммунитета... не было ни у кого» (с. 283). Даже покровительство научных авторитетов не могло защитить от идеологических проработок, а значит и от карьерных сломов (как в случае с С.А. Фейгиной).

Всякое научное сообщество пытается как можно быстрее забыть о такого рода столкновениях, конфликты и скандалы традиционно вытесняются из поля рефлексии. Потому особо интересны размышления автора о месте идеологических кампаний в корпоративной памяти отечественных историков. Соглашусь, что воспоминания о пережитых потрясениях в дальнейшем мешали формированию корпоративной идентичности — слишком плохо вписывались они в представления о поступательном развитии советской науки, о единстве представителей корпорации и их моральной монолитности. Также, полагаю, Тихонов не ошибается, когда говорит, что вытеснение из памяти нередко связывалось с нежеланием учеников разрушать миф о своих учителях. На этой почве произрастали мифы: например, А.Л. Сидоров стал представляться не как активнейший участник кампаний и проработок, а основатель «нового направления» советской историографии. Образ учёного не просто выводился из тени погромных кампаний, но героизировался, подчёркивалось его «мужественное поведение в годы проработок», он представляется как человек, «всячески боровшийся с антисемитизмом и спасавший исторический факультет от погромов» (с. 382). Это при том, что нет недостатка в свидетельствах об обратном. С непроработанной травмой Тихонов связывает и «войны памяти» новейшего времени, в том числе «мемуарную войну» медиевистов. В этой связи советую ему обратиться к книге профессора Н.И. Девятайкиной¹⁹, в которой детально рассматривается история локального научного центра — кафедры истории Средних веков Саратовского государственного университета.

Тихонов утверждает, что особенность протекания идеологических кампаний в той или иной научной дисциплине определялась её внутренним состоянием, и что среда историков из-за свойственных ей внутрикорпоративных конфликтов оказалась благодатной почвой для развернувшихся погромов (с. 375). В этой связи интересна перспектива компаративных исследований, связанных, например, со сравнением практик идеологических кампаний в разных отраслях науки. Можно ли говорить об общих сценариях, общих механизмах и общности социальных практик участников?

Поднятые в книге проблемы относятся к числу стержневых для истории советской науки. Они носят сквозной характер, позволяют уяснить многие моменты жизни учёной корпорации, которые ещё не стали объектом системного изучения, углубить и обобщить уже сделанные наблюдения, выявить общее и различное в динамике интеллектуальной жизни. Однако закончу рассуждения о книге на минорной ноте. По прочтении вопрос «сумело ли сообщество отечественных историков извлечь все уроки из опыта идеологических кампаний “позднего сталинизма” и выработать иммунитет к подобным действиям?» остался для меня открытым.

¹⁹ Девятайкина Н.И. С.М. Стам и его кафедра: 50 лет в университетском городе Саратове. Саратов, 2013.

Любовь Сидорова: Необходимы предельная деликатность и осторожность в выводах

Lyubov Sidorova (Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow): It is mandatory to be extremely delicate and cautious in one's conclusions

DOI: 10.31857/S086956870005918-0

Тема, за раскрытие которой В.В. Тихонов взялся в своей монографии, имеет огромное значение для понимания закономерностей и особенностей развития отечественной историографии и сообщества советских историков. Более того, её осмысление выводит за пределы собственно исторической науки. Она содержит эвристический потенциал для размышления о советской жизни в целом, так как в её основе — проблема социума и власти, их взаимоотношений и взаимовосприятия. Появление нового исследования, посвящённого этим сюжетам, можно только приветствовать.

Над проблемой «советская историческая наука и власть» российские историки работают уже более трёх десятилетий, накопив значительный исследовательский опыт и введя в оборот большой объём различных по своему характеру источников. Сегодня можно с уверенностью сказать, что появление в конце 1980-х гг. триады «историческая наука (история) — политика — идеология» явилось основным идейным обретением тех лет. Стремление отделить науку от политики и идеологии, «очистить» её, освободить исследования от фигур умолчания и Эзопова языка быстро получило распространение и поддержку в ведущих научных центрах страны. Прошёл ряд представительных международных конференций, в работе которых приняли участие ведущие отечественные и многие авторитетные зарубежные учёные.

Красной нитью в обсуждениях и последующих публикациях проходила идея критического пересмотра советской историографии с позиций выявления её зависимости от политики партии²⁰. На первых порах главенствовала тенденция использовать в качестве исследовательского метода «чистый» марксизм, освобождённый от напластований сталинских и брежневских времён. Однако она оказалась кратковременной: развернулась критика марксизма как такового, начался поиск иных методологических оснований изучения истории. Закономерно в этой связи издание сборника статей «Советская историография»²¹, в которой провозглашалось, что вся советская историческая наука лишена научного содержания и является не более чем политико-идеологическим феноменом.

Нигилистический настрой значительной части историков соответствовал тому этапу в жизни России. В контексте всё более укоренявшейся концепции тоталитаризма наука советского периода воспринималась как жертва идеологии и монолит из застывших догм. Она *a priori* противопоставлялась власти, понимаемой как соединение партийного и государственного начал. Но постепенно такая трактовка начала отторгаться, проявился новый подход, предполагавший учёт сложных и неоднозначных отношений науки и власти, рассмотрение сообщества историков в разнообразии его поколений, школ, групп, личностей.

²⁰ См., например: Россия в XX веке. Судьбы исторической науки. М., 1996; и мн. др.

²¹ Советская историография. Сборник статей / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996.

Автор тоже заявил об отказе от тоталитарной модели (с. 43). Однако в его монографии обнаруживают себя оба вышеназванных подхода. С одной стороны, историческая наука периода позднего сталинизма по-прежнему выступает пострадавшей стороной: «С определёнными оговорками феномен идеологических кампаний и их влияние на историческую науку можно рассматривать как столкновение двух неравных в своём могуществе сил: партийной и академической среды, их специфических культур» (с. 374). Наука предстаёт Троей середины XX в., партийные идеологи — хитрыми греками, а позиция самих историков — троянским конём: «Готовность историков быть частью сложившейся системы приводила к тому, что властные инстанции стремились проникнуть и легко проникали в научное сообщество» (с. 76). С другой стороны, справедливо отмечено, что «неверно было бы рассматривать эти события исключительно как вторжение партийных идеологов в жизнь учёных», поскольку «советская историческая наука оказывалась элементом партийной культуры того времени» (с. 374).

Характеризуя сообщество советских историков, Тихонов подчёркивает, что «об изначально цельном в социальном и мировоззренческом смысле сообществе говорить не приходится... далеко не все оказывались винтиками “тоталитарной” машины. Многие могли критически мыслить, во многом не соглашаясь с властью, хотя и зачастую принимать её в целом» (с. 61). С этим можно было бы согласиться, если бы не одно «но». В «тоталитарной» системе координат с её жёстким водоразделом между властью и народом, при котором первая превращается в бездушный механизм, а второй — в послушное стадо, пропадает множественность оттенков в восприятии историками середины XX в. советской общественно-политической системы. Остаётся за скобками и важнейшее обстоятельство: большинство представителей первого марксистского поколения, как и вступавшие на научную стезю исследователи послевоенного «призыва», не противопоставляли себя власти. Её идеалы они полностью разделяли, а многие из них (например, М.А. Алпатов, И.И. Минц, А.М. Панкратова и др.) за её установление даже боролись с оружием в руках. Равно и власть небезосновательно считала историческое сообщество своей идеологической опорой — делая известные поправки на «старую школу» с её неизбежным «объективистским прихрамыванием». Огромную роль тут играло понятие «партийного долга», безусловное для многих историков-партийцев, и даже для беспартийных. Участие в идеологических кампаниях, организованных ЦК партии, считалось его выполнением.

Вопрос о том, что же превалировало в исторической науке позднего сталинизма, оставлен, как мне кажется, открытым. Справедливо подчёркивая сложность «системы научно-исторического сообщества», Тихонов обращает внимание читателя на «конфликты... между партийными и беспартийными, между людьми, жаждущими власти (И.И. Минц и А.Л. Сидоров), между историками “старой школы” и марксистами, так и не признавшими их за своих. Особую роль в них играли “маленькие люди”, являвшиеся сторонними для корпорации фигурами и добавлявшие остроты в процесс» (с. 269).

Выделенные автором линии напряжённости можно условно обозначить как партийную (историки, состоявшие в ВКП(б) и находившиеся вне её), генерационную («старая» и «красная» профессура, послевоенное поколение историков), профессиональную (исследователи и администраторы, научные школы и институты, и проч.), личностную (между отдельными историками).

Следовало бы добавить и национальную, о которой периодически упоминается, но которая не включена автором в перечень конфликтов. Линии напряжённости Тихонов не ранжирует. Вместе с тем их влияние на атмосферу исторического сообщества неравнозначно и требует особого изучения, причём в каждой из них следует учитывать человеческий фактор.

Автор приходит к выводу, что «противоречия и конфликты внутри научно-исторической корпорации были слишком сильны и требовали выхода. Кампании и стали таким выходом» (с. 269). Возникает вопрос: каким же образом они могли погасить — и погасили ли — внутренние конфликты, и как бы разрешала их сама научная среда без кампаний?

В книге высказывается мысль, что «динамика и острота проработочных кампаний во многом определялась конфликтностью среды историков», которая, в конечном счёте, привела к тому, что «эффект от развернувшихся погромов оказался таким большим» (с. 375). Тихонов приводит слова А.М. Некрича о том, что агрессивность и широта погромов стали неожиданностью для самих организаторов, считая при этом, что «мемуарист сам в это не верит», хотя, по его мнению, «такая ситуация весьма вероятна» (с. 376). Думается, что в данном случае автор прав. В подтверждение проведу одну интересную параллель, но для начала напомним этот фрагмент из мемуаров историка, цитирующийся в монографии: «Сразу же пошли разговоры о перегибах и о том, что очень видный руководящий товарищ, осуждая перегибы, будто бы сказал: “Мы здесь, в Центральном Комитете партии, сказали предостерегающее: Эй!.., а на местах аукнулось: Бей!”» (с. 375—376).

А теперь обратимся к документу, на десятилетие предвосхищающему описываемые события, но современному им по духу. Это протокол очной ставки между Н.И. Бухариным и Л.С. Сосновским — сотрудником газеты «Известия», в ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1936 г.:

Бухарин. Относительно статей Сосновского. Совершенно верно, я говорил относительно того, что Сталин заступался за статьи Сосновского. Как-то на заседании Политбюро тов. Мехлис сделал довольно резкий выпад против Сосновского, а Сталин бросил реплику: “Ты говоришь так потому, что не у тебя Сосновский пишет”. Я увидел в этом проявление добавочного доверия по отношению к Сосновскому и счёл своим долгом поощрить Сосновского. Поэтому, когда публика часто подкапывалась под Сосновского, я за Сосновского заступался.

Сталин. Сервилистические чувства, сервилизм.

Бухарин. Вы не знаете современной газетной жизни. Мы очень часто вставляем соответствующие слова в те или иные статьи, потому что считаем, что для бывших оппозиционеров, каким являюсь, в частности, я, это абсолютно необходимо.

Ежов. Кто тебя, ЦК что ли, заставлял это делать?

Сталин. Для партийца это оскорбительно.

Бухарин. Я припоминаю один такой эпизод. По указанию Климента Ефремовича я написал статью относительно выставки Красной армии. Там говорилось о Ворошилове, Сталине и других. Когда Сталин сказал: “Что ты там пишешь”, кто-то возразил: “Посмел бы он не так написать”. Я объяснил все эти вещи очень просто. Я знаю, что незачем создавать культ Сталина, но для себя я считаю это целесообразной нормой.

Сосновский. А для меня вы считали это необходимым.

Бухарин. По очень простой причине, потому что ты бывший оппозиционер. Ничего плохого я в этом не вижу»²².

Смысловая переключка между этим отрывком и выдержкой из мемуаров Некрича очевидна. Вполне узнаваема черта любой бюрократии — опередить, предвосхитить руководящее указание. Здесь хотелось бы заострить внимание на очень важных деталях, характерных не только для центральной партийной прессы и стиля общения сталинского времени, но и для советской исторической науки того периода. В описании Бухариным его позиции по отношению к Сосновскому можно уловить черты «феномена патронажа», о котором пишет Тихонов (с. 78—90). Также Бухарин прямо назвал причину, которая побуждала его славить Сталина — собственное оппозиционное прошлое.

Эта ситуация помогает лучше понять мотивы участия в идеологических кампаниях некоторых историков «старой школы» и представителей первого поколения историков-марксистов. В этом отношении примечателен пример Л.В. Черепнина — ученика блестящей плеяды «старых» профессоров: С.В. Бахрушина, А.И. Яковлева, С.Б. Веселовского, Д.М. Петрушевского. Начало его научной карьеры оказалось прервано Академическим делом: в ноябре 1930 г. Лев Владимирович был арестован, затем осуждён и сослан в лагерь. Это не только нанесло существенный урон здоровью историка — возвращение к научной деятельности не изгладило из его памяти пережитого. Когда защищённая им в 1947 г. докторская диссертация «Русские феодальные архивы XIV—XV вв.», по праву считающаяся ныне одной из лучших его работ, год спустя попала под огонь критики за отсутствие в ней отповеди буржуазной историографии, перед Черепниным вновь возник призрак прошлой трагедии.

Опасение вновь оказаться в положении репрессированного вынудило его участвовать в кампаниях не только в качестве объекта критики, признав все свои «ошибки», но и как её субъекта. Демонстрируя приверженность марксизму, он выступил в печати с критикой взглядов А.С. Лаппо-Данилевского и А.Е. Преснякова как буржуазных объективистов²³. В последние годы жизни, по свидетельству учеников, Лев Владимирович не раз сожалел и о тональности, и о самом факте написания этих статей.

Справедливость требует отметить, что Черепнин использовал, как мне кажется, печальный опыт Академического дела, когда в ходе следствия большинство историков старались любыми способами не ухудшить положения своих здравствующих коллег, намного легче соглашаясь, например, с обвинениями в адрес недавно умершего М.М. Богословского, не имевшего детей. Полагаю, что и сам Лев Владимирович понимал, что главный урон от такой критики будет нанесён ему самому, а не авторитету ушедших учёных. В отношении же действующих коллег, принимая участие в их критике, Черепнин старался одновременно отыскать аргументы для её смягчения и нейтрализации. Так, 14 октября 1948 г. на заседании сектора феодализма Института истории АН СССР, где в свете новых идеологических веяний обсуждался учебник по истории СССР

²² См.: Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) 1936 года. Документы и материалы / Сост. В.Н. Колодежный, Л.Н. Доброхотов. М., 2017. С. 283—284.

²³ См.: *Черепнин Л.В.* А.С. Лаппо-Данилевский — буржуазный историк и источниковед // Вопросы истории. 1949. № 8; *Черепнин Л.В.* Об исторических взглядах А.Е. Преснякова // Исторические записки. Т. 33. М., 1950.

для неисторических вузов под редакцией М.Н. Тихомирова, он упрекнул автора в отсутствии должных ссылок на классиков марксизма-ленинизма: «Мне кажется, что, говоря о феодализме, нужно было дать теоретическое определение феодальной формации, дать соответствующий раздел из работы т. Сталина о диалектическом и историческом материализме и указания т. Ленина. У Вас это совершенно отсутствует». Но предложил рассматривать данный факт не как проявление научной позиции, а как простое упущение: «Между тем в Ваших же собственных работах Вы прекрасно это показали. Тем более досадно видеть отсутствие этого в учебнике»²⁴.

Монография Тихонова полна имён и характеристик. Это внимание к деятельности отдельных учёных, безусловно, сильная сторона исследования, помогающая очеловечить картину научного сообщества. Однако оно же требует от автора предельной деликатности и осторожности в выводах, так как здесь он вступает на зыбкую почву предположений, допущений, реконструкции, «кривых зеркал» и проч. В основе повествования, казалось бы, объективный текст стенограмм. Однако для аутентичного его прочтения требуются знания о подводных течениях в жизни сообщества и строгая доказательность в интерпретации. Привлечение эго-документов, описывающих хитросплетения научной жизни, зачастую осложняет этот процесс, эмоционально воздействуя на исследователя и невольно привлекая его на одну из сторон.

Сложность создания образов покажу на примере А.М. Панкратовой — одной из знаковых фигур первого марксистского поколения в советской исторической науке. На страницах монографии она упоминается очень часто — и, учитывая её роль, это справедливо. Однако остановлюсь на отрывке из раздела «Историческая наука 1920—1940-х гг. в контексте советской семиосферы». На примере Панкратовой автор решил показать, как в исторической науке отражалась идеологическая символика тела: «В здоровом теле — здоровый дух, причём пролетарский. В этом смысле утончённый, интеллектуальный идеал начала XX в. явно не вписывался в новую, советскую вселенную» (с. 55). Далее кратко намечены вехи её деятельности, перечисление которых заключено описанием внешнего облика этой женщины, якобы оказавшего немалое влияние на её карьеру: «Убеждённый солдат партии, она вступила в неё ещё в юности. Несмотря на принципиальность, сочетающуюся с чуткостью к людям, она, как говорится, “колебалась вместе с партией”. Несмотря на довольно скромные научные достижения, в 1939 г. она становится членом-корреспондентом АН СССР, в 1953 г. — академиком, и даже членом ЦК КПСС. Конечно же, сыграла роль и партийность, и тема её исследований (рабочий класс), и школьные учебники, и многое другое. Но сыграл и внешний вид. На фотографиях перед нами коренастая фигура и простое лицо рабочей или колхозницы, но никак не работника интеллектуального труда. Она прекрасно вписывалась в семиокод советского общества. Её не стыдно было выпустить на трибуну съезда как раз в промежутке между партийными бонзами и простой дояркой» (с. 55).

Оставлю в стороне вопрос о том, допустимо ли так, в нескольких словах, свысока и схематично оценивать непростой и зачастую полный драматизма жизненный путь историка. Приведу несколько фактов и свидетельств из жизни Панкратовой. Например, эпизод, о котором сама Анна Михайловна по понятным причинам практически не упоминала. Оказалось, что большевистской

²⁴ Научный архив Института российской истории РАН, д. 375, л. 149.

странице её биографии предшествовала левоэсеровская. В конце 1920-х гг. она ещё могла написать, что «с марта 1917 г. по 1918 г. примыкала к одесской группе левых с[оциалистов]-р[еволюционеров], хотя (по условиям работы в деревне) в организации не состояла»²⁵. Однако в ходе подготовки посмертного академического собрания её трудов одна из соратниц по одесскому подполью Е.Ф. Зубицкая рассказала, что перед вступлением в РКП(б) «Нюра Панкратова вышла из состава “левых” эсеровской партии»²⁶ — и эта информация в издание не вошла. Борьба с троцкизмом обернулась для неё и личной трагедией — крушением семьи, расстрелом мужа Г.Я. Яковина, от которого она должна была публично отказаться, балансированием на грани ареста в 1936 г. Дачный дом в посёлке научных работников, писателей и старых большевиков-сибиряков в подмосковном Кратово Анна Михайловна делила с Л.С. Сосновским²⁷, о котором речь шла выше и который повторил судьбу её мужа — с той лишь разницей, что в 1934 г. отрёкся от оппозиции и был на короткое время возвращён в Москву и восстановлен в партии.

Фраза о «довольно скромных научных достижениях» сразу же отсылает к дневникам С.С. Дмитриева, а именно к записи от 21 февраля 1957 г., после торжественного заседания в Институте истории, посвящённого 60-летию Анны Михайловны: «Конечно, прежде всего она общественно-просветительский деятель, её достижения как учёного-историка куда более скромны. Тем не менее есть и они» — сборники «История пролетариата СССР» и «Рабочее движение в России в XIX веке», которые «долго будут полезны»²⁸. К ним следует добавить и работы 1920-х гг., написанные на материалах фабрично-заводских архивов и посвящённые истории профсоюзного движения²⁹.

И несколько слов о внешнем облике. На официальном фото, которое публикуется чаще других, — усталая строгая женщина в формальном тёмном костюме и светлой блузке, с прямым жёстким ртом и умными глазами. Есть и другая Панкратова — в кадрах фильма, приуроченного к её 60-летию. На них — живая, подвижная, невысокая худенькая женщина. В памяти А. Бессоновой, работавшей с ней в Высшей школе профдвижения, осталась «тонкая стремительная фигура»³⁰ Анны Михайловны, спешившей выполнить как можно больше дел. Всё это лишний раз говорит о том, как трудно судить о человеке по отдельным фото (хотя, естественно, каждая эпоха и среда накладывают на него свой отпечаток).

Попутно замечу, что использование штампов и бытовых представлений при характеристике профессионального сообщества историков заметно влияет на уровень выводов и оценок, содержащихся в монографии. Например, рассказывая об «интеллигентах новой формации» (этот эпитет заимствован у Е.В. Гутновой, хотя отмечено отсутствие «его развёрнутой характеристики»), Тихонов наполнил его своим содержанием. К таковому он отнёс «особый типаж студентов и учёных, который возникает в конце 30-х и оформляется в послево-

²⁵ Историк и время. 20–50-е годы XX века: А.М. Панкратова. М., 2000. С. 191.

²⁶ Архив РАН, ф. 697, оп. 2, л. 186, л. 15.

²⁷ Историк и время... С. 160.

²⁸ Там же. С. 175.

²⁹ Панкратова А.М. Фабзавкомы России в борьбе за социалистическую фабрику. М., 1923; Панкратова А.М. Политическая борьба в российском профдвижении 1917–1918 гг. Л., 1927; Панкратова А.М. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г. М.; Л., 1927; и др.

³⁰ Историк и время... С. 164.

енное время». Это было связано, по мнению автора, с восстановлением исторического образования и его престижа: «Хлынула волна студентов, для которых образование часто было не целью, а средством достижения материальных благ, социальным лифтом и драйвером в карьере».

Давая такую нелицеприятную характеристику, автор подчеркнул, что «новый социальный тип отличался как от дореволюционной интеллигенции, так и от поколения Октябрьской революции». Идеализм первых двух — «служение науке» «старой» интеллигенции и бескорыстное «служение строительству нового общества» первых историков-марксистов — он противопоставил практицизму «интеллигентов новой формации». Среди присущих последним черт — недостаточный уровень образования, «догматизм и активность в поиске идеологических ошибок других», «нацеленность на карьеру». И далее: «Их социальной средой было крестьянство и городской пролетариат. Правильное происхождение позволяло легко пройти через сито отбора в университеты и аспирантуру, где зачастую происходило соревнование не ума и таланта, а анкетных данных. Многие были из провинции, а провинциалы, как известно, народ цепкий». Имеет свои недостатки и предложенная Тихоновым группировка историков первой половины XX в. Так, часть учёных из числа «красной профессуры», которых не затронули репрессии конца 1930-х гг. (в монографии сказано, что «уцелели те, кто лучше лавировал и приспособливался» (с. 72)), фактически оказались причислены к «интеллигенции новой формации». Представляется, что суждения такого рода должны быть строго доказательными и подкрепляться достоверной источниковой базой.

В целом исследование получилось живым и интересным. Рассмотрены многие важные, но до сих пор в значительной степени скрытые стороны жизни исторического сообщества середины XX в. Автор старался передать её хитросплетения, в которых присутствовали наука, идеология, амбиции, индивидуальности и многое другое, что в совокупности и образует живую ткань повседневности и отражается на исследовательской деятельности. Не со всеми суждениями и выводами можно согласиться (хотя сама возможность их полемического восприятия очень ценна), но предложенное решение поставленных проблем заслуживает внимания.

Михаил Базанов: Принципиально новая концептуальная картина

Mikhail Bazanov (United State Archive of Chelyabinsk Region): Fundamentally new conceptual picture

DOI: 10.31857/S086956870005919-1

Список исследований, посвящённых кампании по борьбе с космополитизмом в исторической науке, в настоящий момент насчитывает уже десятки (если не свыше сотни) наименований. Этой темы неизбежно касались те, писал об этой кампании в целом³¹ или отдельных её эпизодах³², о состоянии историче-

³¹ См., например: Сонин А.С. Борьба с космополитизмом в советской науке.

³² См., например: Корзун В.П., Колеватов Д.М. «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна в социокультурном контексте эпохи // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 20. М., 2007. С. 24—62; Шаханов А.Н. Борьба с «объективизмом» и «космополитизмом» в со-

ской науки в послевоенный период³³. Однако само обилие подобной литературы уже ставит вопрос о необходимости системного изучения послевоенных идеологических кампаний в исторической науке как самостоятельного, целостного феномена. Увы, такие работы в историографии отсутствовали. Полагаю, определённый «стимулирующий эффект» должно было возыметь и появление документального исследования П.А. Дружинина, повествующего об идеологических кампаниях в среде учёных-филологов³⁴.

Собственно, обсуждаемая нами монография и представляет собой ответ на этот запрос, сформировавшийся за последние 30 лет — время, когда стало возможным свободно рассуждать о репрессивном давлении власти на науку. И ответ получился основательный и качественный. Для того чтобы дать представление о масштабе проделанной работы, достаточно просто перечислить учреждения, чья протокольная документация и материалы их партийных органов были задействованы: Институт истории АН СССР, Институт истории материальной культуры и их Ленинградские отделения, Московский государственный университет, Московский государственный историко-архивный институт, Высшая партийная школа, Ленинградский государственный университет. Помимо протоколов и стенограмм привлечена масса научных работ, воспоминаний, дневников, писем. Значительная часть архивных материалов вводится в научный оборот впервые.

Несложно заметить, что практически все эти источники — с определённой, впрочем, долей допущений — относятся к числу так называемых эго-документов³⁵. Полагаю, этот факт объясним не только характером событий и особенностями их документальной фиксации, но и тем углом зрения, под которым автор предлагает посмотреть на своих персонажей.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Советская история исторической науки в своём конкретно-историческом воплощении оказалась сведена к составлению реферативных обзоров исследований, посвящённых определённой теме (событию, автору или историческому периоду)³⁶. Это по-

ветской исторической науке: «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна // История и историки. 2004. М., 2005. С. 186—207; и др.

³³ Дубровский А.М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930—1950-е годы). Брянск, 2005; Трансформация образа советской исторической науки...; и др.

³⁴ Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы...

³⁵ О понятии эго-документа см.: Бондарь И.А. Эго-текст и эго-документ в литературном процессе // Известия высших учебных заведений. Сер. Полиграфия и издательское дело. 2013. № 6. С. 107—115; Зарецкий Ю. Новые подходы к изучению свидетельств о себе в европейских исследованиях последних лет // Автор, биография, письмо и чтение / Ред.-сост. Ю.В. Зарецкий, В.П. Лихачёв, А.Ю. Зарецкая. М., 2013. С. 24—41; Суржикова Н.В. Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость? // История в эго-документах. Исследования и источники. Екатеринбург, 2014. С. 6—13. Необходимо отметить, что, несмотря на заложенный в данном термине исследовательский потенциал, в конкретно-исторических исследованиях его зачастую употребляют в качестве синонима понятия «источник личного происхождения», тем самым фактически дискредитируя его. К рассматриваемой монографии данное замечание не относится.

³⁶ В то же время создавались и теоретические статьи о необходимости уделять больше внимания аналитическим процедурам, предлагавшие расширить предметное поле и источниковую базу историографических исследований. Так, например, стоит отметить чрезвычайно лобопытную, но оставшуюся без должного внимания попытку ввести в оборот новый термин: Кертман Л.Е. Понятие «историографическая ситуация» и его методологическое значение // Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1987. С. 106—108.

ложение начало стремительно меняться после обновления методологической базы в 1990-х гг. Наибольшее влияние на историографические исследования оказали наработки таких направлений, как историческая антропология и интеллектуальная история. Ученые заговорили об «историографическом быте»³⁷ и «историографических эпохах»³⁸, «профессорской культуре»³⁹. Кардинальный сдвиг произошёл в понимании предмета исследования, фокус зрения сместился с готового продукта (историческое знание) на процесс его производства. Это означает необходимость проникновения во «внутренний мир» изучаемых персонажей, изучение их переживаний, системы ценностей, сквозь призму которой они оценивали окружающий мир, выявление моделей поведения в их среде. В настоящее время работы, основанные исключительно на реферативном пересказе предшествующей исторической литературы («проблемная историография») сообществом историографов воспринимаются уже как курьёз или атавизм (если, конечно, речь идёт о самостоятельном исследовании, а не о соответствующем разделе в историческом труде)⁴⁰.

Монография В.В. Тихонова полностью укладывается в эту, уже давно обогатившуюся, тенденцию. Однако автор пошёл дальше своих коллег в одном — признании за средой историков права считаться активным субъектом историографического процесса, а не пассивным объектом манипуляций со стороны власти. Уточню: он не первый, кто заявил таковую точку зрения⁴¹, однако ни одна из известных нам работ не была столь же радикальна в стремлении про-

³⁷ *Троицкий Ю.Л.* Историографический быт эпохи как проблема // *Культура и интеллигенция России в эпоху модернизаций (XVIII—XX вв.)*. Материалы II всероссийской научной конференции. Т. II: Российская культура: модернизационные опыты и судьбы научных сообществ. Омск, 1995. С. 164—165; *Алеврас Н.Н.* Что такое «историографический быт»: из опыта разработки и внедрения историографической дефиниции // *Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы*. М., 2011. С. 516—534; *Алеврас Н.Н.* Историографическое знание и проблема историографического быта: смысл и происхождение научной категории // *Вестник Челябинского государственного университета*. 2012. № 22. Сер. Философия. Социология. Культурология. Вып. 27. С. 79—85.

³⁸ *Юдин А.В.* «Историографические эпохи» в истории изучения античности // *Диалог со временем*. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 28. М., 2009. С. 240—262; *Крих С.Б.* О «бритве Оккама» в современной историографии: по поводу «историографических эпох» А.В. Юдина // *Диалог со временем...* Вып. 34. М., 2011. С. 356—377; *Юдин А.В.* Ещё раз о вопросах периодизации истории антиковедения: по поводу рецензии С.Б. Криха // *Диалог со временем...* Вып. 34. С. 378—387.

³⁹ См.: *Корзун В.П.* Профессорская семья. Отец и сын Лапшо-Данилевские. Омск, 2011; *Волюшина В.Ю., Корзун В.П.* Эмигрантский период жизни А.А. Кизеветтера в оптике «профессорской культуры» // *Диалог со временем...* Вып. 58. М., 2017. С. 39—70.

⁴⁰ См., например, дискуссию о методологических основаниях современных историографических исследований: *Крих С.Б., Метель О.В.* Две парадигмы в современной отечественной историографии // *Вопросы истории*. 2014. № 1. С. 159—166; *Базанов М.А.* Две «парадигмы» и предметное поле историографических исследований: запоздалый ответ С.Б. Криху и О.В. Метель // *Историческая экспертиза*. 2015. № 2. С. 55—63; *Крих С.Б., Метель О.В.* Снова о двух парадигмах: предварительный ответ М.А. Базанову // *Историческая экспертиза*. 2016. № 1. С. 195—199; *Исаев Д.П.* К вопросу о парадигмах в историографии (по поводу одной дискуссии) // *Новое прошлое / The New Past*. 2017. № 2. С. 92—104; *Крих С.Б., Метель О.В.* Парадигмы или подходы? Ответ Д.П. Исаеву // *Новое прошлое / The New Past*. 2018. № 1. С. 120—132; *Антощенко А.В.* Зачем изучать историографию? // *Мавродинские чтения 2018: Материалы всероссийской научной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения профессора Владимира Васильевича Мавродина*. СПб., 2018. С. 560—564.

⁴¹ См., например: *Бычков С.П., Свешников А.В.* Проблема феномена советской историографии // *Очерки истории отечественной исторической науки XX века / Под ред. В.П. Корзуна*. Омск, 2005. С. 299—307.

демонстрировать возможность сопротивления давлению «сверху». При этом отмечу, что делается это в книге не на примере отдельных ярких казусов, а на основе большого массива подобных фактов.

Взгляд автора на события антикосмополитической кампании основывается на идее исследовательницы социальной истории послевоенного советского общества Е.Ю. Зубковой о том, что во второй половине 1940-х гг. «место формального контроля... занял самоконтроль и неформальный контроль со стороны малых социальных групп»⁴². Часть монографии, посвящённая предпосылкам кампании, демонстрирует разнородность социальной среды историков (с. 36—61, 68—101). Одна из самых любопытных и плодотворных находок Тихонова — идея о научных кланах как основной единице внутрикорпоративного деления, своего рода первичных клетках, из которых состоит научное сообщество. Автор смог на конкретном эмпирическом материале продемонстрировать бытование этого социального явления и особенности его функционирования, вывел разговоры о нём за пределы «кулуарных бесед» и превратил во вполне адекватный инструмент историографического анализа. Мощное воздействие межклановой борьбы показывают приводимые в книге факты, в особенности ход кампании на историческом факультете МГУ (с. 171—176, 199—214) и в среде археологов (с. 183—189, 254—256).

Ещё одна важная черта монографии — отказ от виктимизации профессионального сообщества. Тихонов не ограничивается простой констатацией того, что значительная часть учёных приняла активное участие в проработочных кампаниях. Он идёт дальше и ставит невероятный, на первый взгляд, вопрос о возможности противодействия репрессивному давлению государства. Для развернувшейся кампании, помимо инициативы «сверху», требовалось наличие активистов, готовых её подхватить, требовать суровых кар для указанных жертв и расширять список «оступившихся». Однако в тех случаях, когда корпорация демонстрировала единство, стремилась погасить возможные конфликты, кампания затухала. Фактически оказалась провалена борьба с «буржуазным объективизмом», масштабы и последствия которой навряд ли отвечали задачам мобилизации научной среды (с. 131—189). Ничем окончились попытки провести идеологическую кампанию в среде археологов — и это при существовании двух явных лидеров, претендовавших на роль главы профессионального сообщества (с. 183—189, 254—256). На историческом факультете МГУ «даже активные партийные историки, вроде Анпилогова, уклонялись от проработок», так как «участвовать в погроме без видимых дивидендов лично для себя энтузиастов не нашлось» (с. 173). Впрочем, эта ситуация быстро изменилась благодаря вражде кланов И.И. Минца и А.Л. Сидорова.

Проанализированы и способы уклонения от участия в «проработке» коллеге. Самый экстравагантный — критика и поиск ошибок в работах... умерших учёных. Так, Н.М. Дружинин одно из своих выступлений посвятил «космополитизму» П.Я. Чаадаева. Другие уводили разговор с ошибок отдельных исследователей на ошибки всего коллектива, ограждая себя и коллег, стремились квалифицировать написанное ими в качестве простых «ошибок» (а не «идеологических диверсий»). Простейшей и самой распространённой линией поведения стало стремление ограничиться «мишенями», уже обозначенными партий-

⁴² Зубкова Е.Ю. Послевоенное общество: политика и повседневность. 1945—1953. М., 1999. С. 22. В рассматриваемой книге цитата воспроизводится на с. 71.

ным начальством. Отмечалась неявка на заседания со ссылкой на проблемы со здоровьем (с. 267—268).

Жертвы кампаний отнюдь не превращались в «неприкасаемых», чья судьба решена раз и навсегда. Их попытки оправдаться не всегда влекли за собой неизбежную кару за проявление строптивости. Более того, иные, попав «под огонь критики», не торопились каяться и признавать ошибки. Так, Е.Н. Горюцкий, оказавшийся в центре проработок в МГУ и Высшей партийной школе из-за близости к опальному клану Минца, занял позицию активной обороны, отвергнув предъявленные ему обвинения (с. 209, 224—225, 244—250). Несмотря на это, он не лишился работы, хотя после произошедшего долго не имел возможности опубликовать свои труды.

Представляется важным указать следующее: защита себя и своего доброго имени являлась не прерогативой романтических одиночек-самоубийц, но вполне прагматичной линией поведения. На помощь со стороны сообщества после «проработки» могли надеяться даже те, кто не обладал значительным «научным капиталом». Иллюстрация тому — биография С.А. Фейгиной, которая после проработок в 1949 г. продолжала работать в Институте истории, а в 1953 г. вышла на пенсию (с. 271—276). «Неповоротливая бюрократическая система всегда даст новый шанс даже самой последней жертве», — заключает автор (с. 276). Впрочем, надо отметить, что этот случай — единственный подобный в книге.

Всё сказанное возвращает к вопросу об ответственности за происходящее самих историков. Исследование Тихонова показывает, сколь разнообразна «серая зона» между принятием происходящего и сопротивлением ему, сколь много существовало моделей поведения, направленных на торможение идеологических кампаний. В свою очередь, признание самой возможности затупить запланированную акцию означает более высокую степень ответственности её участников. Под таким углом зрения любой отказ от сопротивления может рассматриваться не просто как проявление бессилия, но и как пассивное соучастие (пусть и имевшее место в атмосфере психологического давления). «Активисты» проработок видятся не просто «первыми учениками» («Дракон» Е.Л. Шварца), исполнителями злой воли партийных чиновников, но одной из движущих сил всего процесса. В таком случае спрос с них уже иной.

Однако означает ли это, что Тихонов полностью перекладывает вину за произошедшее с государственных и партийных структур на самих историков? Конечно же, нет. В «Заключении» он подчёркивает: «Именно им (сталинским режимом. — М.Б.) была сформирована среда, готовая отозваться на призыв к погромам. А главное, без этого призыва многочисленные конфликты могли тлеть многие годы и разрешаться иными средствами и способами» (с. 376).

Неписанные традиции составления рецензий и отзывов предполагают, что помимо ценности и достоинств рассматриваемого труда следует перечислить положения и выводы, представляющиеся ошибочными или спорными, требующие более обстоятельной аргументации. Конечно же, подобные суждения в монографии присутствуют. Например, помимо собственно идеологических кампаний автор в качестве самостоятельного феномена выделяет и «идеологические дискуссии». Однако сам же пишет, что «отличие идеологических дискуссий от кампаний довольно зыбко, и эти критерии сложно формализовать» (с. 284). Узкая профессиональная сфера охвата, сохранение атрибутов научной

полемики, меньшая степень идеологизации — довольно размытые характеристики, недостаточные для чёткой верификации явления. Встаёт вопрос, как отличить идеологическую дискуссию от простой научной полемики, ведь речь идёт о гуманитарных науках, традиционно отличающихся большей (в сравнении с науками точными) степенью политической ангажированности. Полагаю, введение данного термина в научный оборот потребует разработки более обстоятельного набора характеристик описываемого им явления.

Можно, конечно же, указать и на иные спорные суждения, однако они относятся к частным деталям авторской концепции. В основе своей созданная Тихоновым картина взаимоотношений учёных и власти в ближайшее время останется непоколебимой.

Любая капитальная научная монография всегда ставит перед читателем вопрос: какими путями должны в дальнейшем двигаться коллеги автора? Возможно ли внести что-то новое в разработанную им тему? Увы или к счастью, но книга Тихонова надолго «закрыла» тему послевоенных идеологических кампаний в исторической науке. Конечно, ничто не мешает появлению работ, заполняющих лакуны, «белые пятна» в эмпирической базе монографии, либо пересматривающих отдельные детали конкретно-исторических построений её автора. Однако появление работ, содержащих попытки концептуальных обобщений, маловероятно. Значимых прорывов в ближайшее время ожидать не имеет смысла.

Выход из создавшегося положения видится мне в двух направлениях. Так, возможно «подключить» к изучению материала новые методологические и методические подходы. В качестве примера следует назвать использование контент-анализа для изучения текста протоколов проработочных кампаний⁴³. Но наиболее продуктивным представляется иной путь, направленный на расширение изучаемого предмета. Как уже отмечалось, книга основана на материалах архивов Москвы и Санкт-Петербурга, события в крупных региональных научных центрах в ней не рассматриваются. В то же время сам автор признаёт, что их изучение «даёт крайне интересные результаты, заметно отличающиеся от столичных» (с. 7)⁴⁴. С учётом того, что большая часть историков жила и работала именно в провинциальных научных заведениях, изучение данного материала вполне может привести к кардинальному пересмотру существующих концептуальных построений.

В целом, В.В. Тихонов создал принципиально новую концептуальную картину развёртывания послевоенных идеологических кампаний в исторической науке. Исходя из представления о корпоративной среде учёных как активном субъекте событий, он продемонстрировал, посредством каких страте-

⁴³ Сворцов А.М., Мирощикова А.А. Борьба с космополитизмом в советском антиковедении: дело С.Я. Лурье (опыт использования метода формализованного анализа документов) // История, память, идентичность: теоретические основания и исследовательские практики. Материалы международной научной конференции / Под ред. О.В. Воробьёвой, О.Б. Леонтьевой, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцевой. М., 2016. С. 357—361.

⁴⁴ Замечу, что в других своих работах автор неоднократно предпринимал попытки выйти за рамки подобного «москвоцентричного» подхода: Тихонов В.В. Дискуссия о советизации казахского аула 1946—47 годов // Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 24. Київ, 2014. С. 267—280; Тихонов В.В. Советские историки и переосмысление национальных историй в последнее сталинское десятилетие // Советские нации и национальная политика в 1920—1950-е годы. Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10—12 октября 2013 г. М., 2014. С. 238—246.

гий поведения возможно было погасить воздействие кампании, а посредством каких — активизировать. Следствием такого угла зрения стал последовательный отказ от виктимизации корпорации историков, возложение на неё части вины за произошедшее. Большой объём задействованного материала говорит об адекватности и обоснованности сделанных выводов. Российская историография пополнилась капитальной работой, интеллектуальные построения которой будут сохранять актуальность ещё долгое время.